**[И. С. Тургенев](http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/gvs/gvs-583-.htm%22%20%5Cl%20%22%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%92)**

**Гоголь**

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни: он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною <Е. М.> Ф<еоктистов>. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. <…> Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица. <…>

Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей, и — если не ошибаюсь — Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый — и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его — драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело — и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить — обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор— и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле — а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды — и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы — и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет — и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет — а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. <…>

В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь.

В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных — в зале дворянского собрания, — и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражала удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне — и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвил: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же... Все бумаги сжег — да помер» — помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренне скорбел о подобной утрате — притом же и сердце он имел доброе — но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огорашивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу), — это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. <…>